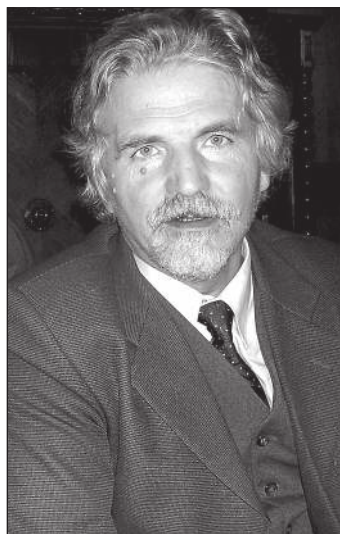


Дорогой Николай Иванович, поздравляем Вас со славным 65-летним юбилеем, поём «Многая лета!», желаем чистого неба над головой, сил и упорства на Вашем столь непростом и важном поприще.

Николай ДОРОШЕНКО

ЗОЛОТОЙ ВЕК

(Главы из романа «Душа»)



Глава первая О ТОМ ВРЕМЕНИ, КОГДА МЕНЯ ВО МНЕ НЕ БЫЛО

В тысяча девятьсот шестьдесят первом году, в свои десять лет, я почему-то никак не решился заглянуть в личико только что привезённого из роддома племянника – ещё красненькое, ещё словно бы недосотворённое, но уже обрاملённое тем белым, с тонюсенькими кружавчиками, чепчиком, который сшила моя старшая сестра, а теперь, значит, уже и его мать Нина.

А тётя Фрося очень уж настойчиво меня подбадривала:

– Ты не бойся, ты подойди поближе, оно же тебя не видит! Ему пока ещё ангелы небесные поют!

Да и Нина при этом мне улыбалась так, как будто я – уже и не я, и она – уже не она. А её муж Алексей попытался было спичкой поджечь свою папиросу, но тётя Фрося сразу же прогнала его.

Видимо, сколько-то шагов я всё-таки сделал в приближении к племяннику, но потом тихонечко отступил и вышел во двор к Алексею, одному и с папиросой в оскаленных зубах сидящему у порога. Он меня тут же подхватил за пояс, ря-

дом с собой примостил, совсем не по-взрослому спросил:

– Ты-то хоть его разглядел?

И я, уставясь на мысок его до блеска начищенного хромового сапога, вдруг понял, что и он, до сих пор одним только своим встрепанным чубом, одною только своею совсем уж небесной улыбкой всегда повергавший меня в щенячий восторг, может оказаться таким же неприкаянным, как и я.

И с этого мига я полюбил его уже как обыкновенного человека, а не только как того вихря, который на своём редком по тем временам мотоцикле или иным способом вдруг возле нашего двора появлялся и столь весело да напористо с нами разговаривал, что каждый раз, когда они с Ниной, им всё-таки завоёванной, уходили прогуляться до клуба, то и я, и даже мои родители какое-то время должны были приходиться в себя.

– А правда, что ангелы ему поют? – спросил я у Алексея.

– Да так поют, что даже, ты ж видишь, мне и покурить нельзя! Только возле роддома сегодня утром дали чуть на руках подержать! – жарко и отчаянно ответил он и сунул в зубы новую папиросу.

ДОРОШЕНКО Николай Иванович родился в Курской обл сти, окончил Литер турный институт им. А. М. Горького. В н стоящее время – секрет рь пр вления Союз пис телей России, гл вный ред ктор г зеты «Российский пис тель» (электронн я версия: www.rospisatel.ru). Автор книг прозы «Видения о Липенском луге», «Хозяин неизвестного музея», «Ушедшие» и др. Л уре т Большой литер турной премии з повесть «З претный художник», Литер турной премии им. И. А. Гонч ров з повести «Ушедшие» и «Выстрел», премии им. Е. И. Носов з книгу «Дерево возле дом » и др. Живёт в Москве.

Впрочем, в дальнейшие их церемонные у нас гостевания был он уже более спокойным, но и не прежним парубком, а всего лишь весёленьким мужичком с тёплыми и волглými, как согретый воск, глазами в тёмных и острых ресничках. И едва мой племянник успевал хныкнуть с нашей кровати, поперек которой его укладывали, Алексей тут же устремлял к Нине свой вдруг весь заострившийся, как и его реснички, взгляд. И у меня сердце начинало щемить от этого его беспокойства, а Нина Алексею в ответ улыбалась как-то очень уж снисходительно; и мне казалось, что это от одной лишь её улыбки, медленной, для меня пока непривычной, племянник мой опять затихал. Алексей же, нашарив в просторном кармане своего пиджака папиросы, устремлялся на волю двора.

И я по своей щенячьей привычке вслед за ним выходил. Он то ли приобнимал меня за плечи, то ли даже меня общупывал и с восхищением сообщал:

– Вот станет он таким же, как и ты, хлопчиком с косточками, буду я его от мамки с собою даже и на покосы брать!

Мой отец тоже выходил к нам. Садился рядом с Алексеем, чтобы с торжественной оцепенелостью помолчать.

– Что ли, и вам не позволяют его на руки взять? – начинал допытываться у него Алексей.

Отец ничего не отвечал. Потом, опамятавшись, приказывал нам:

– К столу надо идти, а то всё стынет там...

Потом, как самое неважное, добавлял:

– А чё тебе, Алексей, его на руки брать, пусть растёт себе *оно* и растёт... А когда ты понадобишься ему, то никуда не денешься...

Потом, на Алексея не глядя, строго добавлял:

– Ты ото папиросы свои выкинь... Какой пример будешь подавать, когда *оно* вырастет... Ты ж с сих дней уже перестал быть парубком...

И за столом, чтобы не разбудить Колю (племянника называли, как и меня, Колей), он в женские медленные разговоры не вступал.

А я уже вполне смело подходил к племяннику, чтобы увидеть, как он безмятежно посапывает в своём словно бы от всех нас далёком-далёком сне.

И казалось мне удивительным то, как он, всё-таки уже почти настоящий человек, в своей далёчине пока ещё не догадывается, что я на него уже смотрю.

А вот теперь я много отдал бы за то, чтобы вспомнить пение также и своих ангелов.

Может быть, пение это ещё не истаяло; может быть, где-то в самых уже неразличимых потёмках моей памяти оно хранится. Может быть, я теперь всего лишь не могу различить его сквозь тесную толщу своих прожитых лет, а оно, уже и неслышное, само во мне потихоньку длится и длится.

Однако же, хоть и смутно, но помню тоненькое посверкивание голоса моей матери над моею, должно быть, подвешенной к потолку люлькой. Или это даже не столько голос матери мне запомнился, сколько впервые запечатлённый в моём сознании её образ, от которого всё-таки сбереглось во мне вот это, как вечный небесный жаворонок, невесомо и неумолчно звучащее мерцание.

Трудно мне теперь угадать, что обнаружил я рядом с собой, впервые открыв глаза.

Да уже и стал я путать то, что запомнилось мне увиденным наяву, с тем, что увидел я в своих первых и причудливых сновидениях. Потому что, едва я просыпался, мать всегда с певучей радостью спрашивала: «А что моей пчёлочке золотенькой присни-и-илось?». И я невольно оглядывался в свой сон прежде, чем успевал его забыть.

К тому же рождение моего первого племянника окончательно спутало всё, что я о своём младенчестве в тогдашние десять лет не успел забыть, а что из забытого, на нового Колю глядя, вдруг припоминал.

Например, когда мать по своей крестьянской простоте советовала Нине пеленать Колины ножки потуже, «чтобы они у него не кривенькими выросли», то я вроде бы как вспоминал собственные колени, стиснутые пелёнками или, уж не знаю, во что меня заворачивали в послевоенной нищете моего тысяча девятьсот пятьдесят первого года рождения. И когда племянник приучился ползать, я, сострадав его ненасытному упрямству, обнаруживал, что мои ладони и коленки всё ещё хранят память о бугорочках узелков на наших самотканых половичках, о гладких, утром холодных, а к полудню горячих камнях у порога нашего дома, о шершавом, в гусином помёте и пухе, пространстве нашего двора и о ласковой, как тонкий шёлк, земляной пыли у амбара, в которой, видимо, издревле купались и нежились все поколения наших кур.

Моя младенческая память оказалась живой ещё и по причине того, что слишком долго на мне как на самом младшем, было сосредоточено в нашей семье всеобщее внимание. Не давали моей памяти обесцветиться постоянные из года в год рассказы и пересказы о том, как и по каким причинам я рыдал, чем меня от рыданий можно было отвлечь, чему я, «делая губы колечком», внимал наиболее охотно и радостно.

Брат Саша был старше меня на пять лет, а сестра Катя – всего лишь на три года. Но именно они оказывались моими сторожами и пастухами после того, как мать, убаюкав меня, спешила на огород. И когда я просыпался, то они должны были со мною изо всех сил играть. Но я уползал от них в поисках матери, я начал плакать, когда они моему устремлению препятствовали. И пока я полз, брат и сестра, видимо, играли в то, что вот я всё-таки ползу, а они мне, как пленённой божьей коровке, не позволяют выбрать неверный путь.

Хотя не могу я теперь понять, как эти малыши, сами нуждающиеся в опеке, меня опекали. Да и через много лет однажды нашёл я на чердаке сплетённую из тонкой лозы, наподобие корзины, «стоячую люльку», в которой, как оказалось, мать всех нас в нашем беспомощном возрасте, спящих или бодрствующих, вслед за своими заботами по хозяйству переставляла, в том числе и на огороде. Может быть, всего лишь несколько раз она меня оставила на попечение сестры и брата, а я это на всю жизнь хоть и смутненько, но запомнил.

Да и предположим, что аж до полутора лет – но ведь не дольше же? – ползать мне было сподручнее, чем ходить. Но ладони мои и колени всё ещё отчётливо помнят гладенькую тропочку огородной межи, мягенькие кудряшечки травы по её обочинкам (эта трава почему-то называлась «гусиные лапки»), а также вездесущий молочай и суховатые, всегда припылённые листки подорожника. И невольно чуть ли не вздрагиваю я до сих пор, когда вспоминаю, как вдруг обжигал моё голенькое плечо свирепейший наждак стеблей или листьев подсолнухов, высаженных по обе стороны этой моей первой и, как мне тогда казалось, бесконечно длинной дороги. Ещё помню, как вдруг, видимо, под особо крупными листьями подорожника обнаруживал я внимательно вглядывающиеся в меня круглые и влажные глаза огромной лягухи, как пережи-

дали мы вместе с нею свой осторожный друг к дружке интерес и как она вдруг упрыгивала с межи в свою тайную лягушечью жизнь. И ещё помню, как не без удивления поглядывали на меня ногастые кузнечики своими цяточками глаз, как я пытался хотя бы одного схватить, как эти кузнечики в сей же миг неизвестно куда пропадали. И помню, как брат опережал меня, когда я пытался сунуть себе что-нибудь или кого-нибудь в рот. Помню, с каким трудом проглатывался мною воздух, настоящий на тёплой земляной влаге, на душных запахах картофельной ботвы, на медянном гуле пчёл, на прозрачном и призрачном стрекоте и шорохе всяких иных насекомых; как сонный, но хладенький ветерок эти запахи и шумы то ли шевелил, то ли взламывал и тем помогал мне их всё-таки вдыхать и выдыхать. И, помню, как уже в полном изнеможении я начинал различать голос матери: «А кто это мамочку свою нашё-о-ол, кто это к мамочке припо-о-олз, а кому я огурчик, а кому я самую красненькую морко-о-овочку тута нашла-а!»

В теперешней своей взрослой жизни, когда день пролетает, как единый миг, мне, наверно, за многие годы не выпадает столько умственных и переживательных усилий, сколько испытывал я, проползая от порога дома до той огородной грядки, где мать и Нина ловко орудовали своими тяпками. Каждая былиночка была для меня удивительна и своим стебельком, и своими боязливо замершими листиками; каждые встречные муравей или жучок меня завораживали ниточками своих лапок, своими похожими на посверкивающие бусинки или даже на сундучки тельцами.

И, конечно, отчётливо помню себя не на четвереньках, а уже самостоятельно поедающим неподалёку от матери то ли первую завязь огурца, то ли с первой краснотцой помидор, то ли огромный скрученный в бараний рог стручок сочного сахарного гороха; то ли уже на полуголом огороде терпеливо ждущим, когда брат наконец-то выкатит палочкой из костра нестерпимо горячую картофелину или, например, обскоблит такой же обугленный корень сахарной свеклы, который я затем поедал как самую огромную и самую сладкую конфетину.

А вербы в конце огорода – таинственные, тёмные и чужеватые – обозначали границу, продвигаться за которую мне не позволялось. И что было там, за вербами, а также, что таилось

за всеми нашими плетнями, за воротами, за всеми доступными мне пределами, я не знал. Да вроде бы и не стремился узнать. Иной раз мать выносила или выводила меня на улицу, но на всё, что там мне встречалось, я глядел так, как теперь гляжу лишь на бесконечно далёкие звезды, для жизни моей посторонние. Какая-нибудь старуха подходила ко мне, чтобы беззубо прошепелявить: «А вот заберу я тебя у мамочки! А вот заберу-заберу!» Мне достаточно было отвернуться, чтобы разглядывать уже не её усохшее лицо, а цветастую мамину кофту. Если же старуха не отставала, то я прижимался к маминому плечу и весь пропадал в нём, таком бесконечно тёплом и мягком, что лишь в его укромнейшую тишину я невольно вслушивался и врался.

Заметную часть времени проводил я, конечно же, и во дворе, где отец в иной день с утра до вечера тюкал и тюкал своим острующим топором по звонким брёвнам, а я подбирал длинные в кольца свитые щепы и тоже что-то своё из них то ли городил, то ли мастерил. А когда начинался дождь, отец меня ставил рядом с собой под скат соломенной крыши сарая, и мы молча глядели, как тонкие водяные струи стекают перед нами, слушали, как чуть в сторонке от нас вкрадчиво ропчет под колкими дождевыми каплями наш, как мне тогда казалось, бесконечно просторный сад.

Отец чаще молчал со мной, чем разговаривал. Потому что всегда так выпадало, что вместе с ним мы либо каждый в своём деле копошились, либо, «для передышки», смотрели на шныряющих у собачьей миски воробьёв, на кур, безруко слоняющихся у плетней, или на беззвучнейшие пожарища заходящего солнца, или даже на восходы огромной и красноватой луны. При этом я вцеплялся в полу отцовского пиджака или в его штанину, а он накрывал мою голову рукою, как большою и тёплого шапкою.

Да вечно же мне было на что-то глядеть. Например, на огромную мосластую лошадь, которую отец приводил с колхозной фермы, чтобы вспахать огород или мало ли для чего другого, или на собаку, вылезавшую из будки и во весь свой алый рот зевавшую, или на петуха, зорко и грозно с плетня на всех нас посматривающего, или на нашего гусака, который всегда на меня шипел, всегда пытался меня ущипнуть.

Впрочем, вряд ли я тогда гусака боялся так, как, например, уже в школьном возрасте стра-

шился свирепейшего колхозного быка. Утром я стремился прокрасться на порог раньше, чем гусей выпускали к пруду; и не успевал как следует угреться на солнышке, гусак вдруг вскидывал голову, а завидев меня, начинал своим гусыням что-то гортанно кричать, а они ему что-то на своём гусином языке отвечали, а гусята тоже начинали пищать, мол, мы видим, мы тоже этого Колю видим! А наготовавшись, гусак расправлял паруса своих могучих крыльев и, уцелив в меня свой тяжеленный клюв, неспеша да косолапо ко мне устремлялся. И сердцу моему становилось так жарко, что я уже на месте усидеть не мог и замороженно полз или шёл гусаку навстречу. Но тут чьи-то руки меня подхватывали, я взлетал над гусаком и с выси своей глядел, как он, победно крича, возвращался к стаду. Гуси же все разом встречали его такими истошными криками, что уши у меня закладывало.

Но, помня вот этот жестяный и надсадный гусиный звон в ушах, я не помню себя тогдашнего.

И свои оцарапанные коленки, и свои вечно в занозах пятки, и свои ладони, и свои обожжённые подсолнуховыми наждаками плечи я помню. И как сердце моё, когда гусак на меня наступал, будто кипятком ошпаривалось, я помню, а себя, а того человечка, который моими глазами на гусака при этом глядел, я не помню.

Как на фотографиях остается всё, что увидел фотограф, но нет самого фотографа, так и в картинках моей памяти нет воспоминаний лишь о том, кем я в своём младенчестве был и что теплилось в моей душе.

Например, вроде бы я частенько плакал. Но было ли моей душе горько при этом? Или – ещё чаще я чему-нибудь удивлялся либо радовался. Но чем отличались все мои плачи от всех моих радостей?

Что ли, они, как вихри в поле, хоть и во мне, но ко мне непричастно зарождались и сами неизвестно куда пропадали?

Или, например, кого-то я нетерпеливо звал, кому-то о чём-то кричал. Но почему кричал? Какая у криков моих была причина?

По рассказам матери, я громко гыгыкал брату: «Гы! Гы!» «Гы-гы», – охотно и на моём языке отвечал брат, видимо, передразнивая меня. И потом мы, нагыгыкавшись, сияли друг другу глазами.

Но не из пустоты же сияли мои глаза брату Саше в ответ на его сияние?

Вот же, отчётливо помню себя в более старшем возрасте и уже от всех отдельного, уже во что-то своё погружённого, уже от кого-то уворачивающегося, а кому-то стремящегося попасться на глаза. Как, например, дядьке Максимычу, нашему соседу. Мол, гляди ж, дядка Максимыч, это я тут по улице иду, я! Чтобы он вдруг с восхищённым изумлением объявил чуть ли не на всё село:

– Люди добры! А поглядите, какой Мыколище тута вышагивает! Ещё б усы ему под нос прицепить да шашку сбоку подвесить – и от истинного казачка было б не отличить! Ай да хлопёц у Григорыча уродился, ай да парубок у нас на селе появился!

И я при этом тайно пузырился и чуть не лопался от ощущения великой своей значимости. И понимал, что это я шлепаю по дорожной пыли босыми пятками, а не кто-то другой.

Но ведь и раньше все обязательно обращали на меня внимание, а вот что за существо ответно из меня выглядывало на всех наших сельчан, а также и на всех всматривающихся в меня кузнечиков, воробьёв и ласточек, кто глядел из меня на огненно рдеющие помидоры, на надсадно орущего с плетня петуха, вспомнить я не могу.

Но не могло же быть во мне тогда так пусто и тихо, как бывает пусто и тихо лишь там, где пока ещё никого и ничего нет?

Или и на самом деле во мне в ту пору пока ещё не душа теплилась, а сохранялась нетронутой та первозданная тишина, в которой только и можно было различить чистое и прозрачное, как сам невесомый воздух, пение небесных ангелов?

Глава вторая

О ТОМ, КАК В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ Я, ПОДОБНО АДАМУ И ЕВЕ, ПРЕБЫВАЛ В РАЙСКИХ КУЩАХ

Теперь даже в переполненном вагоне нашего московского метро, где все мы, как шпроты в банке, друг к дружке притулены, если нечаянно за чей-то взгляд зацепишься, тут же куда-то в сторону отведёшь глаза, дабы не выглядело так, что покушаешься на частность такого же, как и сам, человека. И если он спросит о чём-то, ответишь вроде охотно, но именно непространым своим ответом вроде как проявишь уважение к этому человеку. И на улице если кто

заговорит о чём-то неопределённом, вроде того, что, мол, как же надоела эта жара, то точно так же, как если бы этот человек споткнулся, а ты его за локоть осторожненько поддержал, ты отвечаешь ему вполне участливо: «Да, дождик не помешал бы...» – «Уже ж и трава на газонах вся выгорела!» – не унимается, допустим, этот неизвестный тебе человек. И ты вроде бы не молчишь, разговор продолжаешь вполне душевно. Но так и голубь, бывает, садится на подоконник моей кухни, и мы друг на друга смотрим, пока он не улетит или пока я сам не шагну к плите, чтобы снять с неё наконец-то зашумевший чайник. Но если б двойных стекол в окне не было, то и голубь, наверно, на мой подоконник не сел, а если бы и сел, я бы машинально его прогнал.

Вот и все люди в тесноте наших нынешних тротуаров и где угодно теперь друг на друга если и поглядывают, друг с другом если и вступают в разговор, то словно бы сквозь двойное стекло.

А иной раз идёшь по улице, а навстречу женщина малыша за руку ведёт. И малыш этот на тебя своими глазками глядит, и, допустим, пусть он при этом даже не улыбается, пусть он даже вроде бы куксится, но всё равно весь он ясененький, так что и вся его кукса сквозь него просвечивает, как нити жилочек в кленовом листике, попавшем под ослепительный солнечный луч. Так что вдруг захочешь ты ему хотя бы подмигнуть, чтобы тем самым обрадовать его пока ещё лёгкой, как пух, жизни. Но, из приличия, эту свою радость утаишь, мимо, как и подбавляет уличному прохожему, пройдёшь.

Хотя всё-таки нечаянную светлотцу от этого ребёночка в себе ощутишь и далее уже с этой светлотцей сколько-то минут проживёшь.

А в ту далекую пору, когда я был таким же малышом, все мои односельчане по своему простодушию стремились мне в лицо заглянуть, все пытались меня либо погладить, либо даже потискать, либо по крайней мере сунуть мне конфету или пряник. И в памяти у меня остались ласковейше притишенные голоса этих со всех сторон устремляющихся ко мне односельчан.

Пройти мимо птичьих мельканий их рук было невозможно. Даже глухой на оба уха дед Яшка, мне особо запомнившийся своей приземистостью, необыкновенно широкими и кверху, как у орла, вздёрнутыми плечами, а также тон-

кой и длинной шеей, носом увесистым, вытянутым далеко вперёд, и губами впалыми, будто проглоченными, даже вот этот удивительнейший дед Яшка если заходил к нам во двор и, громко прокричавши моему отцу: «Иван Григорыч! Не одолжишь ли бурав на часок? А то, будь оно неладно, дырку кой-где пробуравить надо!» – то затем же и непременно спрашивал: «А твоего меньшенького почему не видно?» А обнаружив во дворе и меня, руки длиннющие растопыривал и, как гусак, шёл мне навстречу. А затем, с растопыренными руками, обмирал, и непонятные губы его раздвигались в улыбке, а глаза умильнейше зажмуривались. Отец подавал ему свой плотницкий, свой тяжеленный, не магазинный, в кузне выкованный и на каменном круге заточенный бурав, что-то и сам кричал ему в ухо, но дед Яшка не сводил с меня своих восхищённых глаз и уже как неглухой, уже голосом обыкновенным, тихим, пытался со мной заговорить. А я, может быть, даже рот раскрывши и не дыша, зачарованно глядел на его огромный нос, на его пожатое, в глубоких и тёмных рвах морщин, лицо, на его проглоченный рот, на его огромный кадык, на его орластые плечи.

Полагаю, что в деде Яшке и во всех моих, в возрасте, односельчанах лишь с наибольшей непосредственностью проявлялось общее для всех много проживших людей стремление узнать в каждом детском лице то чистейшее мерцание, из которого когда-то вылепились и их собственные души, затем, может быть, жизнью обугленные, болящие, но и хранящие, всё-таки хранящие в себе хотя бы самую малую искру изначального покоя и ничем не замутнённого первородного счастья.

Потому как где бы ни родился человек – в избешке ли, по пояс в землю вросшей и со слепыми окошками, или в вызолоченном дворце – в начальную пору жизни для него это были такие же райские кущи, как и те, в которых обитали самые первые люди – Адам и Ева – до их изгнания.

Когда твоя душа ещё не знает ни добра, ни зла, когда твоя душа, как утренний воздух, абсолютно безмятежна, то вкус картошки так же приятен, как и вкус любого самого изощрённого яства; и не было у меня тогдашнего гордыни, ради которой вкусу простого сахара предпочёл бы я сладость более редкую. Да и вручную сколоченная и непокрашенная, воистину деревян-

ная табуретка, с её за многие годы отполированными до янтарного блеска жилами, с буграми её твердейших сучьев, с её между толстых ножек перекаладками, о которые можно упереть свои не достающие до пола пятки, была для меня тем же самым, что и для кого-то иного дорожее кресло; да и ничто, – ни золото, ни серебро – так завораживающе не блестит под солнцем, как живая капля на промытом дождём оконном стекле, ничто так не драгоценно, как тонюсенькие розовые лепесточки обычного для тогдашних сельских изб цветка, называемого «семейной радостью», ничто так не удивительно, как неутомимый маятник жестяных часов, прижавевших к стене рядом с семейными фотографиями, как огонь, жарко мерцающий сквозь щели меж чугунными блинами грубки, как посапывание ветерка в печной вьюшке, как отцовский карман, в глубинах которого, едва отец возвращался с работы, нетерпеливо добывал я гостинчик, переданный мне летом от «ласточки», а зимой от «зайчика», и ничто меня так не насыщало уютным покоем, как несмолкающий голос матери, и ничто меня в моей жизни уже так не воодушевляло, как, например, вот эти «ласточки» и «зайчики», никогда обо мне не забывающие, вечно обо мне помнящие и вечно меня одаривающие если не яблоком или конфетой, то необыкновенно вкусным кусочком хлебушка, который я не разжёвывал, а дотаивал во рту до его сладчайшей и воистину чудесной сути.

Мне довелось родиться хоть и в старинной, подслеповатой избе, по тому времени вполне обычной для нашего Курского края, но установленной на высоком кирпичном фундаменте; и, конечно же, со светлицей, с кухней, которая почему-то называлась чёрной комнатой, с просторнейшей печкой, с тёмным и широким жерлом подпечья, с множеством печурок, с широкими запечными полатами, а также с сенцами, с кирпичным подвалом, с чуланом – притягательно-сумрачным, освещённым лишь сквозь величиной с кулак отдушину.

Теперь не понятно мне, как мы все – мой отец, мать, брат, две сестры и я – в теснотушечке такой не наступали друг на друга, как помещались в чёрной комнате ещё и другие полати, более широкие, чем запечные, а также накрытый клеёнкой стол, посудница, лавки, табуреты, а в часы ежедневного «поранья» – ещё и деревянное корыто для мойки картофеля, стада чу-

гунов, ведер, кувшинов... Или как в комнате «светлой» помещалась старинная, с резными спинками, кровать, всегда украшенная кружевными подзорами и кисейными покрывалами, самодельный, отцом выструганный диван, широкий и толстоногий стол, стулья, сундук такой, что на нём даже спать было можно, и сундук другой, в виде большого фанерного чемодана, «ножная» швейная машинка, дощатый шкаф, а также все те мелочи, которые уже не перечислить.

Но можно же было мне вместе с котом надолго от всех затаиться под просторным столом, можно же было мне подползти к подпечью и украдкой заглянуть в его тьму, как в бездоннейшую пещеру, или подкрасться к самой нижней печурке и вытащить оттуда гребешок со сломанными зубьями, пустой спичечный коробок, катушку без ниток, или совсем уж крошечный пузырёчек, или почти не ржавый гвоздочек, или отливающую перламутром пуговицу, или совсем уж драгоценные, но, как ты их внимательнейше ни разглядывай, совершенно ненужные бусины, или даже расписной, может быть, братом забытый глиняный свисток, или даже шпульки от того ткацкого станка, который отец зимой ненадолго устанавливал в светлой комнате так, что, пока мать ткала половики или рядна, взрослому человеку можно было пройти мимо неё только боком, переступая через массивные и древние балки станочных стоп.

Даже притом что на всю глубину печурок длины моей руки не хватало, богатства мои преумножались бы с каждым днем, если бы я их тут же не терял или если бы я благополучнейше не забывал о них, где-то вроде надёжно припрятанных. Но с ненасытной надеждой на будущие свои поживы всякий раз я поглядывал и на печурки верхние, мне пока не доступные.

А в одной из печурок я однажды нашёл, видимо, часть той конопляной кудели, из которой мать пряла нити для своего тканья. И когда я эту кудель попробовал вытащить, отец мне усмешливо сообщил, что это какой-то бородатый дед давным-давно к нам заходил, но бороду свою забыл, и вот теперь она его тут, в печурке, дожидается. И я уже к этой печурке не приближался. Хотя частенько глазами своими упирался в жутковато выглядывающие из неё волосы бороды, и, не будучи в состоянии осмыслить эту тайну, щупал собственный подбородок, с ко-

торого, как пообещал мне отец, когда-то у меня вырастет борода такая же.

Помню, однажды, обнаружив фанерный сундук открытым, я вытащил оттуда отцовские, от войны, медальки, а мать, удачам моим обычно радуясь, эту находку у меня отобрала, и я было разрыдался, но брат вдруг извлек из своего кармана куда более важное сокровище – складной ножичек. «Хочешь увидеть, как он режет?» – спросил он торжественно и подобрал у печки оставшуюся от растопки щепочку, начал её строгать. Я, конечно, рыдать перестал, потянулся к ножичку, а брат с великою важностью меня предостерег: «Этот нож такой сильный, что у тебя он из рук, как царапучий кот, вывется и сделает тебе бо-бо...» И остороженько уколол меня кончиком лезвия в ладонь. «Бо-бо! Бо-бо!» – с неменьшей важностью стал я показывать всем свою тронутую удивительным ножичком ладонь. Но напрочь забыл и о медальках, и о ножичке, когда увидел, что отец, вооружившись самодельным совком, отправляется в чулан за зерном для гусей. О, у меня мурашки по спине ползли то ли от холода, то ли от жути в этом нашем сумеречном чулане, где вдоль одной стены простирались массивные и, чтобы мыши их не прогрызли, окованные железом закрома, а над ними свисали с потолочных крючьев мешочища и мешочки с сахаром, с маком, с горохом и фасолью, с сушёными для взвара фруктами и мало ли с чем ещё. А вдоль другой стены были полки, и кроме отцовских столярных и плотницких инструментов, которые я уже мог отличить, всё прочее на этих таинственных полках мне было непонятным и то ли виделось, то ли жутковато мерещилось.

Лишь в подвал мне долго не удавалось заглянуть, потому что если его открывали, чтобы извлечь из него, допустим, банку с вареньем, или капусту, или мочёную в капусте антоновку, то меня тут же кто-то подхватывал на руки, на что-то другое отвлекал, и я по простоте своей об этом таинственнейшем подвале в единый миг забывал.

Родительские или Нинины руки, а также Сашины и даже самые незамысловатые Катины хитрости, подобно явлениям природы, сверху и с боку, и отовсюду чинили препятствия всем моим устремлениям, но и тут же прицеливали на что-то другое. Все меня переставляли и передвигали с места на место, как табурет, вечно откуда-то меня выманивали и куда-то замани-

вали, и я, насытившись в кочевьях своих по дому, иногда садился поближе к матери на половичёк и начинал хныкать, возможно, по тем же причинам по которым, например, люди взрослые и степенные даже во время самых вёселых застолий вдруг с особым наслаждением начинают петь какую-нибудь свою самую что ни на есть печальную, самую заунывную песню. Катя пыталась на что-то меня отвлечь и от этого моего хныканья, а мать ей говорила: «Если ему так сподобилось, то пусть же он погудит...»

Ещё не зная жажды добра, я никого из не позволяющих мне покрутить колесо прялки или достать из кошёлочки первого и особо приманчивого цыплёночка не мог заподозрить во зле, а не зная горя, я не понимал, что счастливей, чем я, быть уже невозможно. Как сытая рыба-кит блуждает по океану, так и я блуждал под столом и вокруг стола, а также от чулана к печке, а от печки в светлицу, например, к совсем уж волшебной швейной машинке «Зингер», чтобы, не успевши вздрогнуть от прикосновения к ней хотя бы кончиком пальца, вдруг обнаружить, что Нина под ту табуретку, у которой в сиденье была дырочка от выпавшего сучка, ставит устланную тряпицей кошёлочку с цыплятками, чтобы я жёлтеньким и писклявеньким комочкам этих цыпляток, не причиняя вреда, как Нина меня уже научила, кидал сквозь дырочку пшённую кашку, а потом глядел, как пушистенькие цыплятки эту кашку склёвывают своими крошечными клювиками. Ах, вряд ли кто-нибудь и для кого-нибудь, как для меня моя удивительная сестра Нина, создаст такую же – из табуретки с дырочкой, из застеленной тряпицей кошёлочки с цыплятками и пшённой кашки – фабричку по производству той нежности, которою я согревался и насыщался, то кашку сквозь дырочку прокидывая, то под табуретку на удивительные живые комочки цыпляток, кашку склёвывающих, заглядывая.

Да и уже мало кто, видимо, помнит, что когда-то каждый сельский дом был истинным Ноевым ковчегом, странствующим в вечных потопах крестьянского бытования. В пещере подпечья иногда вдруг появлялся в качестве жильца купленный отцом на базаре опасливый и глупенький поросёночек, которого невозможно было обнять так же, как и, например, кота, но, если удавалось почесать его за ухом, то он вдруг этой ласке подчинялся, становился покорным и смиренным.

А ещё иногда всё пространство возле печки мои родители выстилали золотую, пахнущей морозом соломою, а потом вносили на рядне только что родившегося телёночка и укладывали на эту солому. И он тут же пытался встать на свои дрожащие ножки. И я заворожённо на него глядел. Я пытался погладить его мордочку, а он пытался поймать своими мокрыми и тёплыми губами мои пальцы, полагая, что это, может быть, коровье вымя. И мать давала мне бутылку с соской: «На, покорми своего дружка...» И вместе мы кормили жадного к молоку телёночка. Мать при этом бутылку держала, а я осмеливался её лишь касаться.

Все те несколько первых дней жизни тёлёнка, пока его не переселяли в коровий хлев, я не отходил от него, то трогал его шёлковую шерстку, то просто глядел в его сказочные, в длинных ресницах глаза.

А к весне под кроватью светлой комнаты и под полатями чёрной комнаты вдруг поселились гусыни. Они сидели в своих плетённых из ивовых прутьев гнёздах, и перед каждой стояли мисочки с водой и едой. И так было для меня в охотку дотянуться до тёплых и с каждым днём все более бледных их клювов. «Чавш-чав-чавш», – шершавым шёпотом они отвечали на мою ласку к ним. И ночью, засыпая, я слышал, как они мне вышётывали: «Чавш-чав-чавш». И так таинственна была их спрятанная под кроватью и под полатями жизнь. А потом вылуплялись под ними их шустренькие гусятки. Из гнёзд мать пересаживала этих гусят в просторнейшую кошелину. И мне опять-таки позволялось лишь глядеть на них, поскольку я, однажды одного выхвативши, чуть его от восторга не задушил...

А едва началось настоящее лето, из дома я выбирался, блуждал по необъятным просторам нашего двора, нашего сада, нашего огорода. И, как пчела добывает мёд во мреющих огнях цветущих подсолнухов, так и я упрямо напивался либо долгими созерцаниями вот этой пчелы, либо первыми сроненными с веток яблоками белого налива, либо накалённою солнцем, во рту жарко и сладко тающей малиной, либо мало ли ещё чем.

А недавно мне довелось найти в Интернете весьма добротное киноповествование о жизни того народца амазонских джунглей, который пока ещё в наш нынешний взрослый мир из своего золотого века не выкарабкался и свой мла-

денческий образ пока ещё не утратил. Когда глядел я, как трое первобытных и бесштаных мужчин заострёнными палочками ради пропитания неторопливо выкапывали анаконду из неким зверем покинутой норы, то в их воистину безмятежных лицах я считывал то, что в свои незапамятные детские времена испытывал и сам, когда с отцом мы кормили кур или гусей, когда возле матери я пасся на огороде, когда вместе с братом мы пекли в нашем осеннем костерке картошку и сахарную свёклу, когда с сестрой Катей мы щепочками проковыривали из дождевой лужи тонюсенькую ниточку собственного укромного ручейка.

Вот же, даже и изгнавши нашу пытливую человеческую породу из рая, Господь всё-таки даёт нам возможность оглядываться из своей уже отнюдь не райской жизни на покинутые нами райские кущи.

И дед Яшка с его длиннющим орлиным носом и огромнейшим кадыком, с его великой, сквозь первую, гражданскую и вторую войны, сквозь голодоморы проросшей жизнью, – вот этот дед Яшка, если растопыристо устремлялся ко мне, ещё младенцу, то только потому устремлялся, что понимал, я пока ещё тот Адам, который из рая не изгнан, который жизни в крови и в поте лица ещё не знает.

Глава третья

О ТОМ, КАК Я СЕБЯ В СЕБЕ ОБНАРУЖИЛ

Потом я всё-таки стал иногда прокрадываться аж к краю огорода, почти под вербы. Но огромные сталисто посверкивающие кроны этих верб так незнакомо встречали меня и с такою могучею и тяжкою безучастностью ко мне шумели на высоком ветру, что я, прозрачнейше постояв у них на виду с полминуты, помимо своей воли возвращался к тому месту среди огорода, где в своей цветастой кофте и с тлякою склонялась над кудрями картофельной ботвы вместе с Ниной или без Нины моя мать.

При всем том, что мать никогда не упускала меня из виду, очень уж радовалась она моему возвращению или, вернее, моему всё-таки бегству от далековатых и тревожных верб. Но вот только я, никогда не успевающий оголодать без её ласки, всегда этой её лаской пресыщенный, делал вид, что мать даже и не слышу, что сам собою я тут на огороде живу. А вернее, под защитною сенью её голоса я действительно жил-

поживал так, как хотел. Лишь когда мать умолкала, когда на лице её обнаруживалось одно только строгое внимание к лезвию тляпки, стремительно подрезающему сорняки и заодно пеленающему картофельные стебли мягеньким порохом нашей живородной землицы, я, опять же помимо своей воли, приближался к ней и либо утыкался носом в её бок, либо просто цеплялся рукою за её юбку. «Да как же птяшеняточко по мамочке своей соскучилось!» – опять очень уж бурно радовалась она. И, оставив тляпку, начинала меня целовать и обнимать. А я из её объятий опять выпутывался, уходил, например, к густо усыпанной жёлтыми чашечками цветков огуречной грядке, чтобы проверить, не появился ли там огурец хотя бы толщиной с мой тонкий палец.

– А было ж времечко, когда тебя отлепить от себя не могла, – жаловалась мне мать на меня самого. – Да для чего же я тебя в капусте искала, если к тебе теперь уже и не приластиться?

И кое-когда со стороны верб мимо нас в сторону двора, как вспугнутый заяц, очень уж шустро пробегал по меже мой брат Саша. И мать, с трудом разгибая натруженную спину, кричала ему: «Там на окне кувшин, дак ты хоть заодно молочка попей!» Он на её голос оглядывался, но лицо его оставалось и для меня, и для матери посторонним. И мне казалось, что это когда под вербами пробегал он с того лужка, на котором паслись наши гуси, то, может быть, ледяной вербный шум всё его лицо выпил. Мать же опять начинала мне жаловаться: «Неужели и ты, пчелочка моя роднёсенькая, к товарищам из своего гнездочечка вылетишь и таким же, как Саша, маляхольным станешь?..» А вскоре брат мчался обратно – уже с куском, толсто отрезанным от самопечной паляницы и обмакнутым в сахар. «Хлеба всухомятку наешься, а скоро обед!» – опять пыталась докричаться до него мать. А у меня тоже вдруг возникало желание откусать нашего ржаного хлебушка. И мать охотнейше уступала: «Ну, пойдём же, пойдём, отломлю и тебе кусочек, а заодно хотя бы разогнусь...»

Только отец оставался невозмутимым, когда Саша даже и на обед опаздывал, а прибежавши, еду в себя запикивал наспех и ни на кого не глядя. Мог отец лишь спросить: «А гуси где?» «Да в пруд я их загнал! – отвечал Саша вроде как недовольно. – Там хлопцы уже, небось, с обеда вернулись и купаются, так что и я побегу!» «Вот так растишь-растишь этих деток,

а они, ещё и не выросши, от сердца твоего уже спешат отлепиться...» – опять начинала жаловаться мать. «Ему в эту осень в школу идти, а ты его у подола хочешь удержать. Пусть же приучается жить положенной ему жизнью», – сурово отвечал отец и меня, пока ещё от их сердца не отлепленного, поглаживал по голове своей шершавой, как подсолнух, ладонью.

А я и сам страдал оттого, что Саша прибежал с завербного лужка столь чужим. Помню, в один из ясных и, видимо, воскресных дней, отец не на работе пропадал, а, пользуясь погодой, разостлал по двору все наши самотканые рядна и высыпал на них зерно для просушки. А затем приказал Кате сменить Сашу возле гусей на завербном лужке, чтобы, значит, Саша тут во дворе прогонял от зерна очень уж вороватых воробьёв.

Воробьи же сидели всюду: на плетнях, на ближних яблонях сада и даже на соломенных крышах сараев. И отважно поглядывали они на отца. А едва отец отходил от ряден, сразу они серыми тучами устремлялись к зерну. «Пырр! Пыррр!» – кричал на них отец с такою свирепостью, что я и сам пугался. И, чтобы отец поскорее становился обыкновенным, я собственными криками начинал прогонять этих крылатых грабителей: «Пырль! Пырль!».

Саша обиженно и как-то боком-боком вернул с лужка и, ни слова не вымолвив, уселся на угол крайнего рядна.

«Ты не сиди, ты и зерно иногда шевели, чтобы оно быстрее проветривалось. А после обеда будем с тобою его засыпать в закрома», – велел отец Саше и, напоказ пошуровав по золотому зерну своею ладонью, ставшей похожею на лопату, ушёл. И воробьи тут же и с крыш, и с плетней, и с яблонь на рядна спикировали. Но брат, вскочивши, эту атаку их молча и мрачно отбил. Когда же они на свои прежние позиции вернулись, он принялся швырять в них всем, что под руку ему попадалось. И лишь после того, как в зоне нашей видимости ни одного воробья не осталось, опять он стих и скукожился. И на меня даже не взглянул, когда я попробовал ему показать собственное умение зверски супить брови и комья земли кидать. Не обратил он своего внимания и на мою попытку шевелить золотое зерно выпрямленной наподобие лопаты ладонью. Так что уже ничего мне не оставалось иного, кроме как подойти к Саше да и притутиться лбом к его остренькому плечу.

– Вот же, ещё и с тобою тут нянчиться... – вымолвил брат вроде и несердито, но обращаясь явно не ко мне, а к собственным хмурым мыслям.

И в этот миг во мне, где-то под сердцем, вдруг впервые вспухло и зашевелилось нечто пока ещё для меня незнакомое. Может быть, позже из этого горячего, перехватывающего дыхание комка, вдруг обнаружившегося в моей груди, затем выткнутся по отдельности и моя грусть, и моя щемливая тоска, и мои самые жгучие обиды, и мои леденящие одиночества, но тогда это всё было слеплено в единый под сердцем клубок, и я, не сумев ни захныкать, ни расплакаться, всего лишь потвёрже упёрся лбом и носом брату в плечо и затих, полагая, что уж брат-то знает, как дальше мне быть.

То есть всегда было так, что и отец с его топором, и мать с её либо чугунами возле печи, либо с тяпкою на огороде, и Нина с её веселым да ласковым нравом, и Саша с его всегда участливыми ко мне выдумками, и Катя, пытающаяся Сашу предо мною пересечь, до сих пор жили-поживали только ради меня, а теперь вот впервые я обнаружил, что у Саши есть та своя завербная жизнь, по которой он только-то и тоскует, в сравнении с которой я уже для него мало что значу.

То есть получилось так, что душа моя мною различимую стала лишь тогда, когда впервые оказалась отдельной от Сашиной, уже завербной души.

– Ты чё, так и будешь тут носом своим в меня дышать? – спросил брат, уже, видимо, ко мне потеплевши. – Иди к матери, там хоть гороха наешься...

Я послушно от Саши отлепился, но не на огород отправился, а в сад, к кустам смородины, в которых вроде как воробей какой-то всё-таки затаился. Жалобным и уже одиноким голосом вскрикнувши: «Пырль! Пырль!» – я и ком земли докинул в кусты, но оказалось, что серел в них не воробей, а досрочно пожухший лист.

Потом, брату совершенно ненужный, я прокрался и на огород. Мать, собиравшая созревшие помидоры в большую корзину, тут же, конечно, начала радоваться моему появлению. Но именно обыкновенность этой её радости показала мне предательской.

И я вдруг разрыдался так, как, может быть, ещё никогда не рыдал.

И мать перепуганно поставила корзину меж помидорных кустов, ко мне подбежала, стала

взволнованнейше допытываться: «А что случилось? А кто моего пташеняточку обидел? А никому да я не позволю моего Колечку обижа-а-ать!»

Но эти теперь уже не ко мне прежнему относящиеся и потому напрасные её причитания лишь прибавили мне обиды даже и не на Сашу, и даже не на тот помидор, который мать в отчаянии начала мне совать со своими обычными, горячими, но ко мне нынешнему всё-таки безучастными причитаниями: «А ты ж да глянь, какой приберегла я помидорчик тут, а ты ж да только откуси чуточек, а ты ж да и выплюнь, если тебе не понравится...».

И чем больше она старалась утешить меня, тем с большим отчаяньем я рыдал.

Она подхватила меня на руки и попыталась к себе прижать, но я с яростью, до сих пор мне неведомой, принялся визжать и вырываться.

И неизвестно, чем кончилась бы эта наша борьба, с её стороны, наверно, абсолютно слепая, да и моя такая же, если б не подошёл к нам отец.

– Это почему он так орёт? – расслышал я его хрипкий голос.

– Да сама не знаю, отчего вдруг будто сказался он... – с жалобною беспомощностью ответила ему мать.

– А ты его отпусти, – строго велел отец.

– Да куда ж такого его отпускать...

– А куда он хочет, туда ты его и отпускай... Не будешь ты его вот так до скончания света держать...

Мать осторожно поставила меня на землю, и на этом не только мои рыдания в миг прекратились, а и вообще прекратилось всё.

Потому что, когда отец, уходя, напоследок сказал матери своё хмурое: «Ты ж, кого хочешь, можешь довести до скажения своими вечными причитаниями...», – то я, сам не понимая зачем, поплёлся вслед за ним. Да так потом и пробыл возле него. Отец шёл в чулан возиться с закромами, а я стоял возле чулана. Он уходил вглубь двора вытряхнуть мешки от пыли, а я останавливался от него в сторонке. Он туда, я сюда, но и вслед за ним.

И он наконец спросил:

– А ты чего тут?

И я плечи свои угнул, как рыба, готовая отчаянно занырнуть в для всех невидимую океанскую глубину.

Но и в этой отчаянной глубине я, оказывается, страшился остаться наедине с самим собой.

Я плакал, но уже мысленно, не из голоса, а из зашевелившейся во мне души.

Я и не плакал, поскольку душа моя пока ещё была как нетронутый, как самый чистый лист бумаги.

Я уже не шёл за отцом, а стоял среди двора, как столб.

А поскольку деваться мне было уже некуда, я прислушался из своего одиночества и в куриные причитания, и в гусиные гоготания, и в пчелиные жужжания, и в воробьиные чириканы, и в ветровые совсем уж безъязыкие шумы и впервые под небесами вдруг различил тонюсенькие, но очень уж беспокойные и настойчивые завербные голоса Сашиных товарищей. Словно бы, пока тут Саша молча томится у ряден с зерном, пока воробьи сторожат ту минуту, в которую он от зерна отвлечётся, пока отец копошится то ли опять в чулане, то ли опять во дворе, пока мать собирает в кошёлки помидоры, эти голоса, как искры из невесть когда и зачем потревоженного костра над всею землею вдруг взметнулись, да вот же теперь и не могут ни потухнуть, ни каким-то иным способом достичь для себя того мига, после которого можно уже не так, как они, истошно, надсадно и ненасытно друг другу о чём-то кричать.

13

Мать, вернувшаяся с огорода и заметившая, что я стою как вкопанный и впиваюсь глазами в далёкие, застывшие своею шеренгою половину неба загородные вербы, тоже прислушалась и со вздохом пояснила:

– Это там наши хлопчики, наверно, в лапту или в свой футбол никак же не наиграются...

И в сердце у меня стало нестерпимо пусто оттого, что у меня самого нет повода таким же всполошённым криком от земли оторваться и взвиться под самые небеса.

А тут ещё и со двора вдруг пулею улетел мой брат, всё-таки отцом досрочно отпущенный на свободу.

Вечером же, пригнавши гомонливых гусей во двор, Саша уже никуда не спешил, был обыкновенным, даже сам подошёл ко мне и с привычной, чуточку насмешливой ласковостью спросил: «А хочешь, покажу тебе собаку?». И действительно, его ладонь силуэтом своим стала похожей на собачью голову, и при этом пальцы его раздвигались так, словно собака ещё и зевала или лаяла. И не успел я убедиться, что мои пальцы меня не слушаются, растопыриваются невпопад, он опять спросил: «А что у тебя в кар-

мане есть?». В карманах моих большеватых штанов, от брата доставшихся, в три заворота засученных и на помочах подвешенных, всегда было много чего припрятано. И я долго выуживал то, что было менее драгоценно. Нашёл, может быть, ржавую гайку, где-то во дворе подобранный. Брат не менее долго тряс её в своих сомкнутых ладонях, при этом успевал ладони размыкать и почёсывать себе то ухо, то ногу, то где-то в боку, а потом вдруг показал мне два кулака и спросил: «А теперь угадай, в какой руке твоя гаечка?». После некоторых размышлений я ткнул пальцем в один из его кулаков. Он разжал кулак, но гайки в его ладони не оказалось. «Ну, а теперь где она?» – нетерпеливо спросил Саша. Я, конечно же, ткнул пальцем в другой его кулак. Но и там было пусто. И не успел я попереживать о потере гайки, он, от удовольствия даже и носом прищмыгивая, предложил: «А теперь в вот этом моём кармане пошарь, вдруг эта гайка такая, что сама и невидимо в мой карман запрыгнула!» И сунул мою руку в свой карман, где я свою потерю вдруг обнаружил.

Катя, завидуя моему восхищению Сашей, тоже пыталась меня чем-нибудь удивить. Но придумать ничего не могла. И потому ей оставалось лишь уличать брата в обмане.

Я же с каждым днем всё крепче убеждался в том, что за вербами, где брат и его ровесники пасут гусей, одни только чудеса и творятся.

Особенно же меня поражало то, что Саша мог сомкнуть свои губы каким-то особым манером и свистеть ими гораздо ловчее, чем даже настоящим, купленным у ганчурника, свистком. В то время как из моих губ, сколько я ни старался, вылетала вместо свиста сплошная слюна. Иной раз от долгой натуги голова у меня разбалчивалась, но получалось только сссю, ссю, сю...

А когда я затем, стремясь быть похожим на брата, расхаживал по двору или по огороду в рубашке, расстёгнутой аж до пупка, тут же кто-нибудь, вроде бы как даже пугаясь своему недогляду за мной, за маленьким Колей, торопился застегнуть меня до самой верхней пуговицы. Но, словно бы полагая, что аж с лужка, аж из-за верб брат и его неведомые мне товарищи меня видят, я опять, как у Саши, пуговицы расстегивал, кулаки, как Саша, в карманы совал, ноги пошире, как Саша, расставлял, мол, не одни хлопцы там на лужке, а и я тут не абы кто и не абы какой.

И сосед Максимыч мне кричал из-за плетня, разделяющего наши дворы:

– Мыкола! Да ты всем Мыколам Мыколище! Ах, какой же паренёк у нас уродился, ах какой же у нас в селе казачок появился!

И я глядел на Максимыча и с благодарной враждебностью, и с ощущением своей торжественнейшей от него отдельности.

И ночью мне засыпать было уже одиноко. Но мать напоследок после ушедшего дня с жаром целовала меня, а отец хоть и скуп, но и с невольной теплотой говорил мне: «Теперь же ты засыпай», – и я, укутанный их голосами, засыпал, одиночества своего уже не замечая, но и понимая, что я уже одинок...

Глава четвёртая

О ТОМ, КАК Я РЕШАЮСЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕГО РАЯ ШАГНУТЬ

Да, именно в тот день, когда Саша, отозванный во двор сторожить зерно, столь сильно тосковал о своей, мне пока неведомой завербной жизни, что даже и на меня не обращал внимания, я помимо привычных куриных кудахтаний, ласточкиных безмятежных чириканий и всякого прочего шума стал различать в воздухе ещё и голоса Сашиних товарищей, тонко да настойчиво с лужка доносящиеся.

Да, что-то под сердцем у меня набухло и вызрело, когда Саша, меня не замечая, не только ушами, а словно бы даже и ноздрями впиался в очень уж ненасытную тревожность далёких завербных криков.

И в последующие дни, подкрадываясь к краю огорода, я отчаивался и содрогался уже не от чужеватости холодных, ветром выстуженных вербных крон, а оттого, что крики Сашиних товарищей, пронзающих мрачноватую вербную шеренгу, были мне непонятными.

Но однажды, покружив возле матери по огороду, я к вербам невольно приблизился и сквозь их заслон прошёл, а затем, наверно, не дыша, лишь цепко хватаясь за траву, росшую по краям представшей предо мною глубокой канавы, выбрался и на сам лужок.

На меня обрушилось огромное, воистину бесконечное и мне пока неизвестное пространство, пред которым даже высокие вербы, теперь оказавшиеся за моей спиной, присмирели и за которым стали видны в совсем уж головокружительной далёчине синие, подобные присевшим на землю облакам, наши холмы.

К Сашиным товарищам, кружком, кто на корточках, кто по-иному присевшим и игравшим, наверно, в ножичек, я, понимая всё своё ничтожество, шёл медленно.

Но и заметил, что чуть поодаль от их кружка стоят в таких же, как и у меня, штанах на помочах и в меня глядят мои ровесники.

И ещё более оробел.

И вдруг все братовы товарищи от игры своей отвлеклись, тоже стали в меня глядеть.

— О, Сашко, да это ж твой Колька появился! — вскричал кто-то моему брату, и я зашагал в их сторону более осмысленно, всё-таки уже как Сашин брат.

И, как всегда и везде, рука невесть откуда взявшейся матери меня подхватила, и я взмыл так высоко, что далёкие синие холмы от меня отпрынули.

Но тут и брат из играющего в ножичек кружка вынырнул и радостнейше вскричал:

— Да ты, мамо, не бойся, пусть с малышнёю он тута побудет, а я его простерегу!

И мать, подчиняясь радости его голоса, не просто покорнейше опустила меня на лужок, — нет, она поставила меня на мои босые ноги в мягенькую, гладко остриженную гусями траву с такою же обречённостью, с какою, наверно, яблоня перед морозами роняет на землю своё самое последнее яблоко.

Сашины товарищи сразу продолжили свою игру, а такие же, как и я, со штанами на помочах, ребята стали ко мне приближаться, стали меня окружать и ко мне примериваться.

А я, оглохши от простора или непонятно от чего, ног под собою не чувствовал.

То есть никаких мыслей в моей голове не появилось, ничего я не понял из нового своего положения и ни о чём не задумался.

Я просто стал на своих ровесников глядеть из последних сил, готовый увидеть всё, что мне, если уж на то пошло, было суждено в них увидеть.

Или, может быть, я тогда от волнения не различил ни зелёного лужка, ни наших широченных, за лужком, полей, ни наших далёких и прозрачных, с небом сливающихся холмов, ни вот этих своих погодков. Может быть, я всего лишь с опаской ухватился за подол своей матери; может быть, затем она сама меня подтолкнула к ребятам, мол, иди уж.

Может быть, это потом, во все следующие дни, я наконец-то разглядел и уже на всю жизнь запомнил наши загородные, наши завербные просторы, а тогда я, может быть, сквозь мглу самого великого в своей жизни волнения даже и лиц своих будущих товарищей не мог различить.

Но именно так, а не как-то иначе, началась та моя новая и уже вольная жизнь, в которой я помню себя среди своих вдруг обрётённых товарищей то в обмороке безмятежнейшего с ними единения, то в самых трагических противостояниях с ними и, наверно, похожим на муравья, упрямо шевелящего всеми своими лапками ради каких-то своих одиноких, уже никому, в том числе и самому ему, муравью, неведомых смыслов, объятого одним только слепым и жадным азартом к жизни.

